

Сборник 1. Короткие рассказы

ЯКОВ ШЕЛЛЬ

6+



ПУСТАЯ ВАЗА

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

Яков Шелль

Пустая ваза

«Автор»

2014

Шелль Я.

Пустая ваза / Я. Шелль — «Автор», 2014

36 коротких рассказов - размышлений о разных жизненных ситуациях. Книга будет интересна большому кругу читателей. Каждый найдет в ней "свой" рассказ, который всколыхнет глубинные струны его души.

© Шелль Я., 2014

© Автор, 2014

Содержание

Часть 1	5
Пень	5
Смещение	8
Дверь	12
В поезде из Парижа	14
Разрыв	18
Огонь	20
Гордость	24
Пруд	26
Любовь обязывает	28
Часть 2	34
Портрет	34
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Яков Шелль

Пустая ваза

Часть 1

Пень

я пень. Это все, что от меня осталось. Еще в ранней юности, когда я был тонким стройным деревцем и рос среди могучих сосен, дубов и берез, пришло ко мне неясное томительное чувство; еще не видя солнца, но чувствуя сквозь густую листву над моей головой его матовый свет, его нежное тепло, я начинал трепетать ветвями, сбрасывая ночную росу и, закинув голову наверх, с замирающим сердцем искал его лучи. Прекрасное Солнце в далекой, таинственной вышине стало моей чудесной мечтой, моей первой любовью.

О! как я раздвигал моими упругими ветками чужие ветви, как я рвался наверх! В моем стремлении к свету и теплу был весь смысл прожитого дня...

И однажды я стал выше других деревьев и здесь, наверху, на вершине моих стараний произошла моя первая встреча с удивительным солнцем. Оно было прекраснее, чем я о нем думал, чем оно мне являлось в моих мечтах; я был в восторге от каждой встречи с моей любовью на заре и грустно наблюдал ее пылающий закат за дальними горами... О! как я любил солнце; казалось, оно смотрит только на меня, оно посылает лучи только ко мне, оно любит только мною. Ах! Эта юношеская наивность, эта сладость первой любви! Я ненавидел тучи, набегавшие на солнце. Они разлучали нас, порой надолго, и я тосковал, глядя в хмурое небо, и не находил покоя...

С того дня, как спилили меня, осталась только жалкая часть ствола. Никто не помогал мне расти, я сам всего добился моим рвением, моим старанием, моей любовью к прекрасному. И все, что я накопил полезного, хорошего и доброго, у меня взяли; просто пришли, оглядели, прикинули и спилили. Стоял жаркий, знойный день. Падая, я простился с моей единственной, горячей любовью. И свет для меня померк. И жизнь потеряла смысл. Прошли многие годы с той поры. Я старый пень. Еще текут по глубоким корням ко мне соки, еще доходит до меня теплое дыхание земли, но мне уже не нужно много, я довольствуюсь малым; ничего во мне не меняется; все изменения – только старческие. Даже грибки обходят стороной; когда-то давно вокруг меня селились дружные осенние опята, теперь я покрыт мхом и ядовитыми грибами.

Я не живу, влачу жалкое существование. Моя трепетная, кра-

сивая, счастливая жизнь осталась позади, впереди бесполезная, ненужная. Жизнь длится дольше счастья, может быть для того, чтобы его понять... Я стою, погруженный в сон, в воспоминания и ничто меня не тревожит, не волнует. Только от первого тепла и света дня я оживаю и смотрю наверх слепыми глазами. Я все еще люблю тебя, мое солнышко. Ты самое лучшее, самое светлое из того, что было в моей долгой жизни, полной волнения упругих веток и трепета зеленых листьев, наших жарких встреч с тобой, удивительное солнце. И, чувствуя тебя вдалеке, я грущу; все мои смолистые слезы я давно выплакал.

Однажды, по осени, остановился возле меня пожилой мужчина с корзинкой для сбора грибов, постоял, качая головой с седыми висками, и сказал, усмехнувшись:

– Ну, как живешь, старый пень?

Он присел на сухую траву, привалившись ко мне боком, вытянул ноги в резиновых сапогах, достал из корзинки начатую бутылку темного вина и стакан.

– Ты мне понравился, пень, – сказал он, наливая вино, — мне хорошо разговаривать с тобой, твое молчание наводит на грустные мысли. Давай выпьем! За нашу прожитую жизнь! Выпей и ты, пень. Давай, за нас!

Он выпил свой стакан почти до дна медленными неторопливыми глотками и остаток, несколько капель, вылил на меня. Мне отчего-то стало удивительно тепло и радостно; давно со мной никто не разговаривал; моих соседей, друзей молодости, уже не было, может тоже лежат они сейчас где-нибудь у камина дровами и в последний раз разговаривают с огнем. А болтовня грибов и мха меня не занимала.

– Был я в молодости великим гениальным артистом, я танцевал в известном театре, – продолжил удивительный грибник, глядя перед собой. – Мне аплодировали, мной восхищались. Но однажды приходят немощь и болезни; я стал болеть, были операции, а когда я вышел из больницы, больше танцевать не мог. Оказалось, меня давно забыли. Люди хлопали и восхищались другими. Человеку все равно, кто доставляет ему удовольствие; вот он съел кусок хлеба, получил удовольствие, утолил голод, а кто такой хлеб, о чем он думает, чем он живет, к чему стремится – кого это интересует?

Он помолчал, снова налил в стакан немного вина, вылил на меня несколько капель и, качая головой своим мыслям, выпил.

– Я, в сущности, сейчас такой же, как ты, остаток. – Сказал он, вытирая губы тыльной стороной руки. – Слабый и беспомощный. Как тебя когда-то спилили, растащили на спички, карандаши, табуретки... так и меня – мой талант, мою страсть, мой огонь... люди испили, расхватили, унесли с собой...

Я слушал старика с замирающим сердцем и его слова текли, словно слезы, по моему срезу, и я чувствовал, как меня жжет, будто мой срез все еще был кровавой раной...

– Знаешь, дорогой пень, я думаю, люди именно для этого нас посеяли, вырастили, чтобы потом, в стадии спелости, употребить, а мы думаем, что живем для себя, радуемся солнцу, влюбляемся, страдаем, стремимся, ставим цели. И только в возрасте пня выясняется, что это для них мы жили и росли, для их удовольствия и нужды развивались, стремились в высоту, совершенствовали себя...

Он надолго замолчал, погруженный в раздумья, потом поднял голову и погладил меня по темному срезу.

– Но, даже понимая это, я все равно желаю и даже требую от других, чтобы меня продолжали любить, да, такого, какой я есть, беспомощного, старого, со всеми недостатками, такого, как ты сейчас! Почему это так, старый пень? Почему до последнего часа мы хотим любви, тепла и света? А?

Он налил новую порцию вина, поставил стакан на меня и сказал, усмехнувшись:

– Ты не думай, дорогой пень, что я пьяница. Мы собрались с семьей устроить где-нибудь пикник в лесу... Но я начал раньше... Да вот увидел тебя, и что-то мне грустно стало, нахлынули воспоминания. Для чего живем? Вот и ты, дерево, сгорело в чьей-то печке. Может быть, и есть в этом самый большой смысл жизни, прийти в эту жизнь, чтобы сгореть, чтобы теплом, светом и игрой сгорания доставить другим удовольствие и радость? А? Как ты думаешь, великий пень?

– С кем ты разговариваешь, дедушка!? – закричала, подбегая к старику, маленькая хорошенькая девочка лет четырех. — Тут ведь никого нет! – И она огляделась в недоумении. – Мама, мама! – обернулась она к подходившей к ним молодой женицине, – дедушка с ума сошел, он ни с кем разговаривает!

– Вот, встретил родную душу, – пробормотал старик, поднимаясь с земли.

Смещение

*страсти – это ветры, наполняющие паруса корабля;
иногда они гибельны, но без них невозможно движение
Вольтер (Мари Франсуа Аруэ) (1694 –1778)*

*как я Вам благодарен, моя дорогая, что Вы разочаровали
меня в себе прежде, чем я на Вас женился; это разоча-
рование явилось мне словно Откровение; я прозрел. С того дня,
когда я почувствовал, что разочарован в моих ожиданиях, мир
словно осветился ясным светом; с этой поры я очаровался ра-
зочарованиями. Они ясно указывают на ошибки, которые не со-
стоялись, на возможные, тяжёлые последствия, которые удалось
избежать.*

*Разочарования – это свет; влюбленность, наоборот, тьма;
она все запутывает и затемняет. Когда она приходит, то никог-
да не знаешь, надолго ли она пришла, останется ли она вить
гнездо или вспорхнет и улетит, какие разрушения после себя
оставит, на каких развалинах потом придется жить, из-под
каких обломков выбираться. Разочарованиям надо петь пес-
ни, слагать оды, возлагать цветы, ставить свечи и всемерно
прославлять; они благословенны. Памятники разочаровани-
ям нужно ставить высоко на холме, они должны быть видны
отовсюду.*

*Если вдуматься зрелым умом, – сколько нервов и здоровья
сохраняет вовремя пришедшее разочарование, сколько слез
не пролито, не разбито посуды, не прожито бессонных, тревож-
ных ночей ожидания, не растрачено напрасных слов. Сколько
сохраняется веры в новую влюбленность. Разочарований надо
ждать каждый день и торопить их приход. Этим поэтам и писа-
телям, этим горлопанам любви и трубачам высоких чувств, —
им бы надо переключиться на Поэзию разочарований и Прозу
прозрений, начать поэтизировать тонкие чувства отхода от оча-
рований, прекрасные явления спадающих с глаз покровов, изум-
ленные глаза за упавшими шорами!*

*Хватит вводить людей в надуманные красивые дебри заблуж-
дений, погружать в омут высших иллюзий, из которых каждый
потом выбирается сам, – потрепанный, помятый, растерзан-
ный, окровавленный, потерявший глубокую веру, лучшие годы,
деньги. Хватит! Поэты и прозаики, эти певцы любви, славы и тру-
бя, приобретают деньги и вес, а мы их теряем, следуя, словно за-
вороженные, призывам труб...*

*Что мне сделать, моя прелесть, как мне Вас отблагодарить
за то, что Вы разочаровали меня в себе прежде, чем я на Вас же-
нился? У меня не проходит чувство праздника, хорошего настро-
ения; так чувствует себя, я думаю, человек, избежавший большой
опасности, он чувствует себя заново родившимся, и мне хочется*

за это прекрасное чувство сделать Вам что-нибудь приятное.
Давайте выпьем за это!

Мы выпили.

Моя собеседница поставила пустой фужер на стол, прищурила свои синие глаза и задумчиво посмотрела на меня.

– Мне понравилась Ваша страстная речь! – сказала она и отбросила непокорный, длинный локон с лица. – Нет темы благодарнее, чем тема разочарований! Пока Вы говорили, мне пришли на ум несколько новых афоризмов:

«Время любить и время горько об этом сожалеть»

«Очаровываешься на время, а страдаешь всю жизнь»

Но что мы говорим о любви? Если любить ближнего, то ближе себя никого нет; если дальнего, то дальше всех только Бог. Вы, мой дорогой, находитесь ровно на границе между мной и Богом; когда я выхожу из себя и иду к Богу, на пути стоите Вы, красивый, загадочный, мужественный. Издалека вы похожи на Алена Делона в молодости. Вот я приближаюсь, все яснее и четче Ваши черты, Ваша фигура, Ваш облик и стать. И я уже вижу, что передо мной не Алел Делон, а только симпатичный мужчина среднего роста; первое легкое разочарование вспыхнуло искоркой, упало на сердце и обожгло его. Мы сближаемся, Вы заговорили. О, как бессвязна Ваша речь, сколько в ней неточностей; она вся состоит из смеси восторга, желаний и неуверенности. Ваши глаза смотрят слишком добро и доверчиво – где же непреклонность и упрямство металла? Ваша фигура предстала перед моими жадными любопытными глазами слабой тенью Арнольда Шварценеггера. Сближение несет на себе, как на блюде, первые разочарования, а над сближением пылает ореол Идеала.

Вы стоите передо мной, и от Вас сыплются, словно от бенгальского огня, тысячи искр разочарований. Я стою, освещенная Вами. Сближаемся дальше. Все крупнее Ваши черты, все отчетливее Ваша суть, я вижу Вас насквозь, словно передо мной рентгеновский снимок, вот характер – скелет Вашей натуры; вот Ваши желания, – кровь и соки Вашей души. Я ужасно разочарована; сияние Идеала над Вашей головой тускнеет, слабеет, вот остался только легкий свет, как нимб, – все-таки Вы добрый человек и приятный мужчина. Выпьем за это, мой дорогой!

Мы выпили.

Я поставил пустой фужер на стол.

– Разочарования стоят на эволюционной лестнице значительно выше, чем очарования, моя милая, ибо требуют вкуса и образования; чувства, необходимые для разочарования, более тонкие, и требования у них к любимым несравненно выше, чем у влюбленности, для которой достаточно мгновения, симпатичной внешности, грациозной фигуры, подвешенного языка... Влюбленность вспыхивает от спички кажущегося и освещает внешнее, лежащее на виду, но разочарования – это глубинные чувства, они достигают дна, где, как акулы, скрываются сути. Если влюбленность – это взлет в восторг, то разочарования —

погружения в истину. Каждое прозрение есть победа разума над чувствами и должно праздноваться как день освобождения из плена иллюзий...

– Не говорите долго. Эта тема опьяняет. Ах, как хочется любить! Я начинаю влюбляться в разочарования! Давайте выпьем! Мы выпили.

Она поставила фужер на стол, прищурила синие, в тусклом свете кабака, казавшиеся темными, бездонные глаза и стала смотреть на меня. Ее непокорный рыжий локон лежал на узком лице и скрывал его часть. Под белой блузкой вздымалась легкими волнами ее грудь. От нее веяло то ароматом летнего луга, то теплом лесной полянки, то прохладой туманного берега. Ах, эти обманчивые берега, эти зовущие луга, эта зачарованная даль. Я почувствовал, что иду к ней. Ее глаза по мере сближения становились все больше, темнее, глубиннее; я стал погружаться и видел, все больше изумляясь, что она погружается вместе со мной в эту пьянящую, чудесную, зачарованную глубину прозрений. И там, в изумрудной глубине, где лежат влюбленности, словно обломки затонувших кораблей, мы встретились. Но почему глубина изумрудная? Отчего легко дышится? Я увидел рядом, совсем близко, будто смотрел в зеркало и видел себя, ее сияющие глаза и понял, мы были на высоте; но ведь высота принадлежит чувствам, здесь они парят, тут их гнезда, здесь их вольный ветер! Как нас сюда занесло? Я чувствую ее, она рядом, или во мне?

Я встряхнул головой, отгоняя видения, и увидел снова ее глаза, они смотрели спокойно и ясно; как странно, она вела себя так, словно вынырнула вместе со мной и, поднявшись на поверхность, огляделась. Мне захотелось выпить.

– Выпьем! – сказала она и показала на полный фужер.

Мы выпили.

– Мы с Вами едины, даже в теме прозрений, не говоря о теме очарований; странное единодушие!

– Ничего удивительного! – сказала она с легкой улыбкой, не сводя с меня синих глаз. – Мы сблизились настолько, что смешались в бесконечной пропорции, как вода и спирт. Кто так говорил из великих?

– Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм по прозвищу «Парацельс».

– Выпьем за это!

Мы дружно выпили.

– Но разочарования я преодолела, как болезнь роста, и снова восхищена Вами! – сказала она и нежная улыбка тронула ее чудесные губы. – Мы давно уже стали единым организмом, одним целым, в котором даже на рентгене видно, что это один характер, одна кровь, и один вкусный, пахучий, жизнеутверждающий сок...

– Мне тоже кажется, я снова в Вас влюблен! А может, не переставал любить! – пробормотал я, качая головой и веря ей, как

себе.

Я вызвал такси, и мы поехали с моей воображаемой собеседницей домой. Но с кем я ехал? С моими печальями, моей влюбленностью, моим одиночеством?..

Дверь

из всех дверей в этой большой роскошной квартире, заставленной тяжелой громоздкой мебелью, увешанной картинами, украшенной сувенирами и безделушками, в которой, казалось, все дышало счастьем и благополучием, только небольшая дверь в туалет чувствовала себя несчастной и обделенной. – Надо же! – вздыхала она, – родиться туалетной дверью! За что мне этот рок, за какие грехи моих предков это мне наказание? Или злая звезда надо мной?!

В самом деле. Если подойти близко к ее генеалогическому дереву и внимательно оглядеть его до самых корней, то можно легко заметить, что на его ветвях за многовековую историю не было ни одной выдающейся двери, ничего творческого, ничего запоминающегося; ни одна из ее предков не смогла выбиться в люди, правда, если не считать одну туалетную дверь по бабушкиной линии, которая честно служила у «Старого Фрица» – короля Пруссии Фридриха Великого в одной из его многочисленных дворцовых уборных. Ее портрет 233 летней давности до сих пор бережно хранится в семейном архиве и с гордостью показывается гостям, – дверям от кладовой и прихожей, и те едва не воют от зависти...

– Почему я не родилась дверью в спальню? – снова задумалась туалетная дверь над своей злой судьбой. О! Эта дверь в великолепную, чудесную спальню была ее мечтой, предметом зависти и, нередко, злобы. Как она ей завидовала – этой высокой, просторной двери в спальню, как она ее ненавидела. И было за что! Эта дверь в спальню была, в самом деле, существом высокомерным, она смотрела с презрением на другие двери, за которыми, как она считала резонно, не было ничего интересного, а только что-то примитивное и мелкое. В самом деле! Что могло быть интересного или необычного, удивительного или потрясающего за дверью на кухню? Да она почти не закрывалась! Что там было скрывать, если даже некоторые мухи знали, что твориться на кухне. Но то, что таила дверь в спальню, – это было действительно что-то потрясающее, новое, таинственное, загадочное. А так хотелось быть в курсе дела! Но дверь в спальню всегда плотно закрывалась, не оставляя даже щелки, и ужасно гордилась тем, что была хранительницей всех семейных тайн... Туалетная дверь ее ненавидела! О, как она страстно желала иногда, хоть одним глазком посмотреть на то, что скрывалось за дверью в спальню! Увидеть хотя бы раз то, что видит и чем, может быть, наслаждается дверь в спальню каждый вечер. Вот кто может говорить о любви и высоких чувствах, – дверь в спальню! Если бы она стала писать поэмы и оды, – туалетная дверь бы нисколько не удивилась. Она, конечно, все знает про Любовь, с улыбкой наблюдает ее во всех цветах и оттенках, во всех на-

рядах и блаженстве, – ей и перо в руки! Туалетная дверь даже как-то слышала от двери в кладовку, что дверь в спальню действительно пишет книгу о любви! Конечно! Кому же ее писать? Не ей же, несчастной двери в туалет! Какая тут любовь, высокие чувства, ласка и нежность, трепет и волнение, смех и повизгивания? Более того! Туалетная дверь даже сама толком не знала, чем здесь в туалете занимаются, ибо она всякий раз деликатно открывалась, если кто-то заходил сюда и закрывал ее за собой. Но однажды!..

Однажды к родителям, – которые жили в этой шикарной квартире и каждую ночь скрывались за дверью в спальню, откуда иногда доносились какие-то странные, приглушенные, загадочные звуки, – приехали их дети, высокий крепкий юноша, их сын, и высокая, тоненькая, красивая девушка, его возлюбленная. После радостных приветствий, улыбок и объятий, родители отправились на просторную кухню за праздничным обедом, а молодые люди, переглянувшись и взявшись за руки, направились... в туалет и захлопнули за собой дверь!

Туалетная дверь ахнула!

Она даже не успела опомниться, она даже не успела деликатно отвернуться, как вдруг перед ее изумленными глазами полетели в воздухе какие-то одежды, зазвенели в ее ушах какие-то чудесные прекрасные звуки и ... и ... и она увидела все...

О! Туалетная дверь была счастлива! Еще долго после того, как молодые люди выбрали свои одежды и, как ни в чем не бывало, смирно явились перед родителями, она не могла успокоиться, ее деревянное сердце билось, снова и снова перед ее глазами вставали величественные, прекрасные картинки... Она была потрясена всем виденным, она как будто даже стала выше и красивее! Теперь с дверью в спальню они сравнялись, теперь она стояла на одной доске с нею, а может быть даже выше! Впервые в своей жизни она посмотрела на дверь в спальню с некоторым превосходством и с удовольствием заметила, как та отвернулась и в ее деревянных глазах мелькнула темная зависть.

– А! – злорадно подумала туалетная дверь, – не видать тебе таких страстей!

О, нет! С этой секунды она уже не жалела, что родилась туалетной дверью; боже, какое убожество родиться, например, железной дверью в каком-нибудь рыцарском замке!

Она была просто счастлива! Теперь она тоже была хранительницей жуткой, красивой тайны!

– Взяться за перо, что ли? – стала задаваться она вопросом.

В поезде из Парижа

в Париже он пробыл неделю, подробно изучил все обстоятельства еще не раскрытого дела, фотороботы предполагаемых участников преступления, попрощался с французскими коллегами, сел в автобус, доехал до остановки «Gate de L'Est», и оттуда не спеша прошел на вокзал. До поезда Intercity Express, отправлением в 19 часов 6 минут на Германию, оставалось еще несколько минут, и он прощался с ласковым теплом осеннего Парижа. Поезд уже стоял, занимая собою весь огромный перрон. Он вошел в вагон номер 9 и стал осматриваться в поисках своего места; найдя его, он снял свое длинное осеннее пальто, сложил его и положил на верхнюю багажную полку рядом с черным чемоданом на колесиках, и остался в бордовом свитере. Напротив него, по ходу поезда, уже сидела молодая женщина лет 35 в зеленом платье с короткими рукавами и глубоким вырезом на груди; у нее были темные волосы, аккуратно убранные в высокую прическу; на узком бледном лице выделялись темные глаза под тонкими бровями. Она подняла на него свои большие глаза, немного задержалась на нем изучающе, затем отвернулась и стала смотреть в окно. На столике перед ней лежала раскрытая книга. Он поздоровался, и она снова вскинула на него глаза и отозвалась низким голосом; ее голос был приятным, звучал немного завораживающе; его нельзя было описать словами, но можно описать чувствами, – его хотелось слушать, как любые приятные звуки...

Поезд тронулся медленно и плавно; за окном потянулись парижские пригороды. Молодая женщина закурила и бросила на него короткий взгляд. Он тоже достал рассказы Генриха Белля, и углубился было в чтение, но присутствие этой юной женщины, ее внутреннее беспокойство мешали ему, он отложил книгу и достал бутылку красного сухого вина Chateau Tour la Verite Bordeaux AOC 2007, это вино французских королей, считают французы. Впрочем, какой народ считает свое вино кислым, свои колбасы невкусными, свои города неинтересными, своих женщин некрасивыми?..

– Выпьете со мной? – спросил он свою симпатичную попутчицу и достал два пластмассовых стаканчика из сумки.

– Нет, спасибо! – сказала она и покачала головой, – если я выпью, то покрываюсь некрасивыми красными пятнами. Он снова пораился красотой ее голоса.

– Да, действительно, кого красят красные пятна? – улыбнулся он. – А какие пятна красят?

– И зеленые не красят, и черные! – улыбнулась она в ответ. Ее улыбка, как и ее голос, была из тех явлений, которые хочется всегда с удовольствием видеть и слышать.

Осенний день быстро угасал и за окном стали сгущаться сумерки; поезд въехал в какой-то длинный плавный поворот. Он налил себе немного этого лучшего вина и выпил медленными ровными глотками, успевая почувствовать каждую каплю.

– Когда Вы вошли сюда и заняли свое место напротив меня, мое сердце словно пронзила молния, – сказала она, улыбаясь; она пыталась овладеть собой.

– Этого нельзя было не заметить! – улыбнулся он ей в ответ; он, кажется, ее отлично понимал и принял ее тон разговора.

Он налил себе еще немного вина в стакан. Она снова закурила и глубоко затянулась; ее узкое нежное лицо было удивительно красивым в матовом свете вагонного освещения; она выдохнула дым, и он поднялся вверх к невидимым вентиляторам в потолке вагона.

Вино было, действительно, великолепным, его нельзя было просто пить, его надо было пригубливать, чтобы почувствовать весь его тонкий букет аромата и вкуса; действительно, это было замечательное вино, может быть, и правда, что его пили французские короли; в вагоне стоял тонкий едва уловимый запах духов «Lady Million», исходивший от его спутницы...

– Я вообще-то не часто курю, – сказала она после некоторого молчания, – но сегодня желание курить сильнее меня, не знаю почему.

Она подняла на него свои чудесные глаза; это было наслаждением смотреть глубоко в ее глаза. Они излучали чистый свет. И... беспокойство.

– Вы немного волнуетесь, в дороге нельзя быть расслабленным, можете курить, если хотите, хотя я не переношу дым, но сегодня дым от сигареты меня не трогает, словно Вы курите фимиам, – сказал он приветливо, качая седой головой.

Они ехали из Парижа в Германию; экспресс мчался через ночь, колеса стучали на стыках рельс; она курила; он наливал себе из бутылки.

– Вначале я, в самом деле, немного нервничала, но сразу после того, как я услышала Ваш спокойный голос, я тоже успокоилась. От Вас исходит само Хладнокровие!

И он знал, что ей это нужно, поэтому она снова и снова заговаривала с ним, чтобы добраться до его внутреннего спокойствия.

– Смешно! Всегда, когда я влюбляюсь с первого взгляда в красивую женщину, то сразу погружаюсь в какое-то глубокое Хладнокровие, которое тут же начинаю излучать на нее! – нашел он ироничное объяснение.

Она звонко рассмеялась.

– Это лучшее успокаивающее средство, о котором мне когда-либо приходилось слышать!

И он увидел, что она расслабилась и откинулась на спинку сиденья, не отводя от него своих глаз; теперь они излучали доверие.

– Где Вы выходите? – спросила она спустя некоторое время.

– Во Франкфурте-на-Майне, – ответил он и налил себе остатки вина и выпил. Бутылка была пуста. Он не заметил, как она опустела, но он был трезв, словно не пил; обычно это случалось, когда он был взволнован, или обозлен, или погружен в размышления...

– А я выхожу в Фүльде, – ответила она, гася сигарету. Приблизжался Франкфурт-на-Майне, показались его предместья, через несколько минут покажется огромный стеклянный вокзал.

– Пожалуй, я тоже выйду с Вами во Франкфурте! – Сказала она и ее губы тронула легкая улыбка. – Иначе я Вас больше не увижу.

– Я хотел Вас просить об этом! – ответил он, сияя глазами.

– Достаньте, пожалуйста, с полки мой чемодан; будьте осторожны, он тяжелый.

– Он, наверное, полон денег?

– Деньги легкие, вылетают даже из рук! – улыбнулась она. – Нет, там подарки родственникам, это, действительно, груз!

– Я понесу Ваш тяжелый, груженный подарками, чемодан, – сказал он, – а Вы возьмите, пожалуйста, мою сумку, она легкая, в деловую поездку берешь с собой только зубную щетку и бритву.

– Хорошо, – кивнула она.

Ровно в 22 часа 58 минут, точно по расписанию, Intercity Express остановился во Франкфурте-на-Майне, он пошел по вагону впереди, катя на колесиках ее чемодан и, сойдя на перрон, поставил его и подал ей руку. Она протянула ему свою мягкую, теплую, узкую руку, сошла на ярко освещенный перрон и в это мгновение почувствовала, как на ее руке защелкнулись холодные стальные наручники.

– Никогда бы не подумала, что именно Вы меня арестуете, – сказала она удивительно спокойно. – Вы показались мне таким симпатичным. Когда Вы вошли, я почти влюбилась в Вас с первого взгляда!

Она звонко рассмеялась. Ему стало ясно, что она доверила ему себя, теперь она была уверена, что он все правильно сделает, и все будет хорошо, и этот смех был ее освобождением от самой себя, от ее страхов, от неизвестности.

– Я это заметил, – отозвался он, – я видел, как вспыхнули Ваши глаза и эта вспышка, как бенгальский огонь, побежала по всему Вашему телу. И моему. Никогда не влюблялся с первого взгляда. Даже не верил, что это возможно!

– Все время, пока мы ехали, Вы на кого-то злились! – заметила молодая женщина.

– На себя! – пробормотал он. – Дача у меня за городом, пора уже все убрать, землю перекопать, траву сжечь, – вот никак не соберусь с духом...

– Когда я освобожусь от этого проклятого дела, то помогу Вам убрать Вашу дачу! – сказала она, глядя на него с улыбкой. —

Моя вина не так уж велика.

*– В Парижском уголовном розыске я досконально изучил
Ваше дело; вполне возможно, что пройдет по делу, как свиде-
тельница, Вы напрасно скрывались, – отозвался он. – Я буду
Вас ждать!*

Разрыв

я пробежал еще немного, остановился и оглянулся; мое тяжелое тело сильно отстало и плелось где-то позади. Да, состарилось оно, ослабло. А невесомая душа бежала бы и бежала так же легко, как когда-то в чудесной юности, бодро и весело, преодолевая немыслимые преграды, подняв лицо солнцу, раскинув руки миру! О, как много еще хотелось! Было столько планов и намерений, не покидало чувство, что ты в начале жизни, и она вся еще впереди в своих заманчивых красках, радужных надеждах, сверкающих высотах, а оглянешься на оставшее тело, с грустью понимаешь, жизнь заканчивается. Такое отставание! И чем старше становится тело, тем больший разрыв в дистанции; чувствуешь себя на 30 лет, а ему вот уже 40, вот 55, уже все 60. Какая тут прыть? Где прежняя удаль? Душа способна покорить любую вершину, а телу все труднее подняться на пятый этаж.

Все, из чего состоит тело, склонно к износу и увяданию, но в душе нет ни костей, ни мышц, только впечатления и мысли, вера и надежда, любовь и стремление к красоте и свету. И потому, когда забываешь о теле, несешься, как прежде, впереди него, с тем же юношеским задором, с прежними представлениями о себе, с теми же желаниями любить, какими они были в 30 лет. И только если почувствуешь, что сзади кто-то запыхался, умоляет не спешить, просит подождать его, с удивлением оглядываешься и видишь свое тело; о, как оно ослабло, стало грузным, состарилось. Ах, как хочет душа ещё на 30, а тело может только на 60. Вот он дуализм, в полном расцвете своего противоречия! Вот она, драма, ее кульминация...

В прежние годы, когда мои душа и тело были юными, они любили друг друга и были всегда вместе, как два друга! Тело охотно откликалось на все душевные порывы, участвовало во всех сомнительных авантюрах и рискованных приключениях, они были заодно, они были соучастниками, единомышленниками и страстными любителями жизни. Тело страдало, если душа переживала очередную безутешную горечь потери, оно металось и горело огнем при новой вспышке безумной влюбленности; оно было легко на подъем для нового честолюбивого восхождения на какую-нибудь макушку бытия.

Но постепенно, с годами, мое тело все больше охладевало к неугомонным порывам души, к ее полетам, к ее вспышкам; оно все больше тяготилось движением, все больше предпочитало движению покой, спокойствие и незыблемость. Вялость и лень стали его символами. И тогда между друзьями пролегла трещина, образовался разрыв, и в эту щель хлынуло отчуждение, все больше ее раздвигая. Со временем отчуждение стало заметно и превращалось порой в недовольство, и даже озлобление. Бывших друзей не стало; порывистая легкая душа и отя-

желевшее, ленивое, спокойное тело настолько отдалились друг от друга, что стали даже враждовать и часто ссориться. Каждый был недоволен и даже смеялся над привычками и страстями другого.

Разрыв, дистанция и отчуждение становятся все больше, и однажды достигнут своего предела, максимального удаления, непреодолимого отчуждения. Отставание достигнет черты, за которой отставать будет уже некому. Тела не станут. И тогда невесомая, порывистая душа, как птичка, сидевшая в тесной клетке, выпорхнет наружу и, наконец, снова расправит, как прежде в юности, свои крылышки и устремится к новым сомнительным приключениям, новым рискованным авантюрам, новым пламенеющим влюбленностям. И, встретив однажды свою родственную душу, снова зародится на земле новая юная душа в юном теле...

И когда разрыв станет неизбежным, я попрощаюсь с тобой, остановившееся в бегстве по жизни тело, теперь у тебя будет бесконечно много блаженного покоя и доброго спокойствия; я попрощаюсь с тобой, легкая душа, лети в свои дали, поднимайся на сверкающие вершины, пусть тебя гонят ветры страстей, манят авантюры и влюбленности, плачь и огорчайся, радуйся и желай...

Я попрощаюсь с вами, мои дорогие...

Огонь

в большом камине в углу просторной гостиной неторопливо, но уверенно разгорался огонь; в комнате свет был погашен и она стояла в сумерках позднего вечера, но кухня была ярко освещена и полна звуков и запахов; на плите стояла кастрюля, в ней варился рис, на соседней сковородке под крышечкой весело шипело маринованное мясо. Хозяин дома, мужчина лет 40 с высоким лбом и зачесанными назад волосами, оживленно двигался по кухне, ловко и умело шинковал на большой доске овощи для салата. Он был высоким и крупным, его живот нависал над брючным ремнем, но это, как ни странно, ему шло. Наконец, все было готово, он улыбнулся своим мыслям, выключил плиту и снял фартук. Войдя в гостиную, он налил себе в бокал красного вина, выпил его с заметным удовольствием, подвинул высокое большое кресло к камину, сел в него и поглядел на огонь.

— Сейчас ко мне должна прийти одна женищина, — сказал он весело и пригладил обеими руками назад длинные волосы, — ты уж постарайся, Огниво, потешь ее, побегай по поленьям, поиграй светом, потрещи искрами! Ну, ты знаешь сам, что делать. Доставь ей удовольствие! Да и тебе будет приятно, — порезвишься, тряхнешь стариной, а, гроза поленьев? Она, кстати, сказала, что любит огонь! Хотя я тоже бываю горяч, но я думаю, она тебя имела в виду!

Из прихожей послышался мелодичный звонок, и хозяин пошел открывать дверь. Он широко и открыто улыбнулся, увидев гостью, и посторонился, чтобы дать ей войти. Вошла гостья — тоненькая женищина в белой курточке с высокой прической, прелестным лицом и темными большими глазами, но в них словно что-то погасло, словно кучка серой золы лежала в глубине ее удивительных глаз...

Хозяин помог ей снять куртку, взял за холодную руку и повел в гостиную, к камину и указал на кресло. В камине к этому времени огонь уже разгорелся, раздумячился и блистал во всей своей зрелой красе.

— О! Как красиво! — оживилась она, протягивая к нему руки. — Посмотри, дорогой, как он играет! Я люблю огонь, я люблю смотреть на его язычки пламени, они все время разные и переливаются всеми цветами, от белого до темно-красного. Бесподобно!

— Все для тебя, дорогая! — улыбнулся хозяин, налил в широкий бокал немного красного вина и подал ей.

— Спасибо! — воскликнула женищина, глядя на вино на свет, который изливался из камина. — Как красиво!

— Я рад, что тебе нравится у меня! — вторил ей хозяин. Он нагнулся и поцеловал ее обнаженную выше локтя руку.

— О! — отозвалась женищина. Хозяин включил проигрыватель и в воздухе гостиной поплыли приглушенные звуки «Лунной

сонаты» Бетховена. Гостья пригубила из своего бокала, но казалось, ей больше нравилось смотреть через вино на огонь, чем хмелеть от него.

– Я оставляю вас одних, на короткое время! – сказал хозяин и отправился на кухню, а она снова повернула голову с тяжелыми волосами и загоревшимся взглядом к огню.

– Ты совсем не изменился, милый Огонь, ты все такой же неистовый и прекрасный! – сказала она нежно. И он, словно услышав эти ласковые печальные слова, с еще большим жаром охватывал поленья, все больше распалялся, уже начал по своей вечной неукротимой страсти бушевать в топке, в тихом веселом бешенстве разбрасывать искры и с треском разгрызая поленья на мелкие, горящие, сверкающие кусочки. Это было ему не трудно. Он не старался. Он жил своей жизнью.

– Какой ты счастливый, прекрасный Огонь! – вдруг сказала она, словно ее что-то озарило, и эта новая мысль ее сильно удивила. Она задумалась. – Ты живешь только тогда, когда горшишь! А я погасла раньше времени. Когда это произошло? И почему? Мне не хватает дров для моей души, чтобы осветить и согреть ее. Все последнее время у меня не проходит чувство, что покрыта душа моя серым пеплом. Ничто меня не волнует и не тревожит, никуда не зовет. Только апатия и усталость. Вот я как-то оказалась в каком-то доме – это ведь чужой дом! И мужчина...

это не мой, чужой мужчина. Это не те дрова для моего пламени. Я живу... так далеко от себя самой, словно в чужом доме. Но где мой дом? Я не живу потому, что не горю. Может быть мы родственники, дорогой Огонь! Как ты думаешь?

– Что вы там шепчетесь? – спросил мужчина, возвращаясь в гостиную из кухни. – Я уже начинаю ревновать тебя к этому бешеному красавцу, моя дорогая! – и он добродушно рассмеялся.

Из динамиков лились печальные и торжественный звуки флейты в интерпретации Л. Бельмондо «Аве Мария» Шуберта. От стола потянуло веселым запахом жареного мяса. Почти вся гостиная была причудливо озарена светом камина.

– Мы говорим о жизни, – ответила она задумчиво и вздохнула. – Только в своей среде каждый раскрывает свою суть и живет полной жизнью, словно в стихии.

– А моя стихия – это море удовольствия! – сказал он весело и заразительно засмеялся, не отвлекаясь от сервировки стола. На нем уже стояли закуски, несколько бутылок вина и соков. Женица подняла тонкие темные брови, но не повернула головы; она зачарованно глядела в камин. – Я люблю все, что доставляет удовольствие: друзей, хорошее вино, красивых женщин, ловить рыбу, ходить на охоту, собирать грибы, париться в баньке, лежать на пляже где-нибудь на море, вкусно поесть, до пота работать, – я жизнь люблю во всех ее стихиях – в воздухе я птица, а в воде чувствую себя рыбой.

Спасибо предкам, оставили мне состояние, я могу жить в свое удовольствие. Я только не люблю восходить, – боюсь высоты, и не люблю заглядывать в бездны, – боюсь глубины! Я больше по поверхности...

Он снова заразительно расхохотался.

Женищина оглянулась на него, но глаза ее оставались печальными.

– Какая красивая жизнь у огня, ты заметил, дорогой? – неожиданно сказала она. – От самого возгорания до затухания, даже когда он покрывается седым пеплом и лежит где-то в углях, он все еще прекрасен; в нем преобладают осенние краски – много красного и желтого. Но когда он в разгаре, когда он находится на вершине своего торжества над поленьями, он напоминает мне танец. Огненный танец!

Она вздрогнула. Эта мысль осветила ее прелестное лицо.

– О, нет! – отозвался хозяин от стола, расставляя тарелки и бокалы, – жизнью огня я не хотел бы жить! И знаешь почему? В его жизни нет покоя. Если уж огонь загорелся, его не остановишь. Его можно только уничтожить. Он горит до конца. А покой для меня одно из наслаждений! Удиль рыбку в утренней тишине! Да и просто отдыхать... после хорошей работы, после хорошей попойки, после хорошей ночи с приятной женщиной, да мало ли... В моей жизни я часто делаю остановки! Нет! – добавил он убежденно. – Нельзя гореть, метаться, бушевать, пылать всю жизнь. Зачем? Для чего? Ну вот, у меня все готово! Прошу всех к столу! – торжественно объявил хозяин. – И ты, Огонь, подсаживайся к нашему шалашу. Я сейчас тебя перенесу!

Он взял лучину, запалил ее от раскаленных поленьев и понес к свечам, стоявшим на столе в высоких серебряных подсвечниках.

Свечи разгорались ровным, желтым, безмятежным светом.

Но светлее в гостиной не стало. Это был другой огонь, – пылать, бушевать, метаться, рваться ввысь – было не для него.

Женищина глядела на огонь свечей как завороженная.

– Ах, растапливать воск не для тебя, Огонь! – воскликнула она, и лицо ее впервые осветилось улыбкой, а в глазах заплясали искорки. – Так в жизни... вместо того, чтобы пылать... мы плавим воск...

Хозяин удивленно поглядел на нее, будто впервые увидел.

– Что с тобой произошло? – изумился он немного растерянно. – Ты ослепительно хороша!

Она резко поднялась и пошла в прихожую. Хозяин изумленно застыл с бутылкой вина в руке, глядя ей вслед.

– Прости меня, – сказала женищина, вернувшись, одетая в свою белую куртку, – у меня ужасно разболелась голова, наверное, от дыма.

– Я сейчас потушу огонь! – кинулся хозяин к камину.

– Гасить уже нечего, я уношу его с собой! – донеслось из прихожей; стукнула дверь и все стихло. Только саксофон, как

ни в чем не бывало, самозабвенно выдувал из динамиков веселые звуки мелодии «Run Baby Run»...

Гордость

господь выбежал за ворота Рая и огляделся. Вечернее солнце готовилось опуститься за дальние горы и стояло низко; слепило глаза. Он прислонил ладонь ко лбу и увидел на пыльной дороге от Рая две маленькие фигурки; они удалялись.

– Позвать назад? Вернуть? А может сами вернуться? Вот бы одумались и вернулись. Снова нам было бы весело вместе. Нет, пусть уходят. Будут знать, что нельзя нарушать мои запреты. Пусть идут, проживу без них; в другой раз будут знать... Еще видать их, словно темные точки вдали. Можно крикнуть, они услышат, вернуться. А почему я, собственно, запретил им эти яблоки? Не хотел, чтобы они были похожи на меня разумом, чтобы были такими же умными, как я. А может даже умнее. Вот почему запретил. Но как иначе понять меня, если оставаться глупым, неразвитым? Может позвать? Уже почти не видно их. Надвигаются сумерки. Теперь уже не услышат, если даже сильно крикнуть. Если вернуть, то только бежать за ними. Пусть уходят, если не хотят возвращаться. Я бы их простил. Но если простить это небольшое отступление от моих запретов, то впредь нужно прощать большее. А может быть даже все. Дойти до всепрощения. Тогда нет смысла запрещать. Или запрещать, чтобы прощать? Не похоже ли Всепрощение на Попустительство? Если все прощать может сложиться впечатление, что меня нет, что я ничего не вижу и потому не принимаю меры.

Разве я их прогонял? Только припугнул. Строгость ведь нужна при воспитании детей. Гордые. Обиделись и пошли. Вот уже скрылись с глаз. А только что были видны крошечными точками. Пусть скроются с глаз моих. Словно я их не любил. Отец я или не отец? Ушли. Даже не понимают, что открывают новую страницу истории. Гордость направила их на неизведанный путь. Вот она, драма... Поистине, гордость порой надевает маску судьбы. Что их ждет? Борьба с дикими зверями. Чтобы их победить надо стать еще большим зверем. Превращение в зверей ждет их. Болезни и лишения. Страдания и холод.

Все, скрылись из глаз. Канули во тьму, мои единственные дети. Они же пропадут! Побегать, вернуть? Еще не далеко ушли. Подобрать полы и побегать? Можно все сделать иначе, лучше. Сшить им красивые одежды, дать высшее образование, построить для них министерство или академию. Пусть рисуют закаты, слагают стихи, руководят потомками. Будет другая история человеческого рода.

Откуда у них столько гордости? Голыми ушли. Как змеи сбросили свои кожаные одежды. Бросили все готовое. Будут начинать все с начала. А где начало? Где начало человека? Чем будут наполнять себя? Дикостью, войнами, кровью, жадностью. Потом только когда-то придет понимание, терпение, любовь. Да, видно никогда мне больше не услышат ласкового слова «Отец»,

никогда не услышать лепет «Дедушка». Если вернутся, подарю дочке Еве вечернее платье с павлиньими перьями, а сыну Адаму трактор. Пусть пашет землю.

Нет. Уже не вернутся. Темно. Не найдут дорогу назад. А может оставить Рай, побежать, догнать их, уйти вместе с ними? Махнуть рукой на гордость. Быть всегда рядом, в горе и радости, в нужде и праздниках?

Нет, я остаюсь. Людям человеческое. Богам божественное. Мои круги не их круги, мои мысли не их мысли. Гордые! Повернулись и ушли. Даже не обернулись. Понесли в себе будущее человечества. Послать ангела, чтобы защищал и охранял? Боюсь, прогонят его, гордые, как испанцы! Если вернутся – велю спилить дерево познания добра и зла. Зачем оно в раю? Разведу просто сад, пусть едят фрукты. Витамины и соки детям полезны. Прежде надо было гордость запретить, а потом уже яблоки. Самому надо было отведать.

Куда я смотрю? Уже давно темно. И руку держу у глаз... До рассвета еще очень далеко. До какого рассвета? Рассвета чего?

Но я знаю, они однажды вернутся. Когда станут людьми. В этом мое будущее. Они принесут будущее назад...

Пруд

я прихожусь к этому пруду всякий раз, когда приезжаю навещать могилы моих родителей в мою родную деревеньку; здесь я родился, здесь прошли мое детство и первые школьные годы. Отсюда я уехал учиться и остался в большом городе. Но всякий раз, возвращаясь домой, я прихожусь к нашему пруду; он сильно изменился за многие годы, у берега зарос камышом и довольно далеко к середине на воде лежат широкие листья водяных лилий; с правой стороны от дорожки в пруду недалеко от берега виднеется большой гладкий камень; валунов в округе нет, кто-то из взрослых очень давно привез его для украшения пруда и для нашей детской забавы и с той поры он торчит из воды, одинокий и безмолвный, милый мой валун! Ты каждый раз наводишь на меня грусть, когда я прихожусь сюда, ты немой свидетель моих юных лет, давно прошедших. С левой стороны от песчаной дорожки стоит огромная склоненная ива и концы ее тонких длинных ветвей свисают до воды; в этом месте над водой не увидишь ни водорослей, ни широких листьев лилий, в этом месте омут, глубокое место, и мы, дети, когда плавали в пруду, боялись этого страшного омута пуще огня...

У старой ивы я опускаюсь на колени и кладу к ее стволу букетик цветов; уже много лет я приношу с собой цветы и кладу их под развесистой плакучей ивой, немой свидетельницей страшной трагедии, которая разыгралась здесь 54 года назад; в этом омуте утонула маленькая хорошенькая девочка, моя одноклассница Эдит. Ей было тогда 11 лет.

Мы сидели с ней за одним столом с первого класса. Она жила недалеко от меня на соседней улице, пересекавшей мою, и на этом перекрестке мы утром часто встречались и шли дальше в школу вместе, оживленно болтая обо всем. И иной раз я приходил на место встречи раньше времени, чтобы увидеть, как она выходит из ворот своего большого красного дома; бывало, если я замешкался со сборами, а потом выскакивал на улицу, то сразу видел на перекрестке ее тоненькую фигурку с тяжелым ранцем за плечиками; она ждала меня; тихая радость охватывала меня, и я мчался ей навстречу, застегивая на ходу курточку...

В те жаркие летние дни, когда случилась трагедия, я гостил у родственников, а когда приехал, и мама осторожно сообщила об Эдит, свет для меня померк... я кричал и бился... я тоже перестал жить... Несколько месяцев я пролежал в горячке и каком-то страшном бреду, порывался выскочить на улицу и бежать на перекресток, она ведь ждет меня – прелестная хрупкая девочка с тяжелым ранцем за плечиками... И немного окрепнув, я не мог ни о чем думать... я пропустил один школьный год, а потом родители отдали меня в интернат в большом городе, чтобы я не подходил к пруду...

Та давняя история, закончившаяся трагически, словно проложила колею в мое будущее и сделала его трагичным и печальным; у меня были женичины, некоторые становились мне близкими, но ни одна из них за всю мою долгую жизнь не смогла стать мне ближе этой девочки, ни одна из них не смогла вытеснить ее из моей души и занять ее место, место, где была моя любовь к ней; ни одну из женигин я не смог полюбить всем сердцем так, как я любил Эдит. Эта любовь осталась чистой, не усложненной ссорами, не истерзанной ревностью, не заслоненной бытом, не пораненной предательством, не униженной сомнениями... Никто не знает, когда придет к нему любовь, или в ранней юности, или в глубокой старости. Да, это прошлое определило мое будущее, оно накрыло его своим нежным прозрачным печальным покрывалом; прошлое, которое, в сущности, так и не ушло в прошлое, оно осталось в настоящем, было частью действительности и принимало участие в лепке будущего; без него моя жизнь сложилась бы иначе, пошла бы другой дорогой... Но был бы я счастливее? Я не могу себе представить мою жизнь, если бы в ней не было Эдит.

Так получилось, что эти детские яркие впечатления легли со временем в основу моего восприятия мира, – в его любви и трагизме, в его глубине и поверхностности, в его верности и хрупкости...

Эта прелестная тоненькая девочка, давно умершая, все еще живет в моей душе, душе старика, и невольные слезы текут по моему лицу, когда прихожу сюда к этому старому заброшенному пруду и кладу цветы для моей Эдит под плакучую иву. Здесь, у пруда, в моей памяти она веселая и жизнерадостная, она стоит на берегу, одетая в легкий сарафанчик, улыбается и машет мне рукой, наблюдая, как мы, мальчишки, играем в воде... Цветы для нее – живой. Я никогда не был на ее могилке на кладбище, там она для меня чужая и далекая, там она покоится.

Любовь обязывает

на местном телевидении в дневное время она вела передачу «Мои друзья растения». Приходило много писем на ее сайт от любителей растений; казалось, весь мир интересуется только растениями, что жизнь состоит только из трав и деревьев, цветов и семян, и людей заботят только сроки всходов и условия произрастания своих любимцев. Многие ее корреспонденты указывали на присутствие в растениях целебных свойств почти от всех болезней, а некоторые обнаруживали даже приворотные свойства. Она вела с ними оживленную переписку; эта работа занимала много времени и отвлекала от неустроенности личной жизни.

Но однажды ей пришло письмо от какого-то мужчины, и оно было необычно тем, что в нем он писал о себе, о своих впечатлениях и чувствах, которые она навевала на него с экрана телевизора. И хотя он не был поклонником ни кактусов, ни орхидей, но сама ведущая привлекла его внимание, как ботаника – редкое растение. Этому впечатлению и было посвящено его письмо. Ей было приятно его внимание. Она задумалась и оглядела себя со всех сторон; к этому моменту ее жизни она представляла собой стройную, следящую за собой, разборчивую в еде и одежде, придирчивую к манерам и поведению молодую женщину 48 лет; её трудно было склонить к поступкам, которым давно, еще в ранней юности была дана строгая оценка; она все еще ждала своего принца в образе достойного, порядочного, надежного мужчины. Ожидая его прихода, она отказывала себе в мимолетных увлечениях и ни к чему не обязывающих отношениях.

Она была один раз замужем; ее муж – первый принц еще со школы, – очень любил её, хорошо одевался, был приветливым с другими людьми и никого не судил; его привлекала в жизни романтика и приключения, у него было много друзей; ему не доставало знаний, он не увлекался ни поэзией, ни искусством, мало читал, но был надежным, честным и справедливым. К тому же он был страстным альпинистом.

И она была такой же принцессой, которая ему соответствовала; любила элегантно одеваться, с удовольствием принимала участие во встречах друзей, любила романтику, обожала книги про любовь и приключения. Они были словно созданы друг для друга.

Пять лет назад он и два его друга погибли в Гималаях, в какой-то пропасти. И она осталась одна, принцессой в опустевшем королевстве.

Письмо ее тронуло, даже сама не ожидала, что оно ее заденет, заставит остановиться, призадуматься, оглядеть себя с ног до головы, почувствовать себя не предметом на пути где-то между работой и домом, не специалистом по растениям, не сотрудницей на телевидении, а в огромном мире одиноких, тревож-

ных, беспокойных души крошечной точкой, слабым, мерцающим огоньком, который так легко погасить легким дуновением ветра. Так хочется, нет, просто необходимо, чтобы кто-то подошел и прикрыл от ветра огонек своими широкими ладонями, чтобы огонек окреп, стал пылать, и однажды превратился в красивый огонь со всеми переливами красок и горячих язычков, которыми он жадно охватывает и пожирает поленья жизни... «Хочу теплые, крепкие руки, простертые ко мне!», – сказала она себе, улыбнулась, и ответила незнакомому поклоннику.

Завязалась оживленная переписка, в которой чувствовалось, что он принимает её за тонкую, чувствительную натуру, образованную женщину, умного и сложного человека...

Постепенно у нее сложился его образ благородной возвышенной натуры и сильной личности, и в этот далекий немного туманный образ она незаметно влюбилась, ждала его письма, отвечала невпопад... Этот образ сохранился еще из юности, он там зародился и она его, как маску, мысленно одевала на всех мужчин, встречавшихся на ее пути, в надежде, что кому-то она будет впору, кто-то будет ей соответствовать. В этих примерках и несоответствиях проходили ее годы. И теперь, когда появился этот незнакомый мужчина в ее жизни, замечательный, таинственный, прекрасный образ принца возник снова перед ней. Это дало ей новые надежды, и она расправила крылья своих светлых мечтаний.

Но постепенно его страстные письма стали ее почему-то беспокоить, и вскоре она пришла к ужасной мысли, а соответствует ли она вообще его представлениям, достаточно ли она тонкая, образованная, возвышенная? А в его письмах уже стало встречаться слово «божественная»!

Что делать?

Человек складывается со временем в какую-то причудливую смесь из характера, привычек, наклонностей, вкусов, интересов, представлений так прочно, что кажется порой, будто это не человек, а кирпич, который можно только сломать, раскрошить, истереть в порошок, но невозможно изменить, сделать другим. И таким он предстает каждый день перед собой и другими людьми. А в данном случае требовалось себя изменить, перестать быть кирпичом, снова превратиться в гончарную глину, пройти через лепку творческими руками и вылиться в удивительную женщину, чуткую и сложную, тонкую и чувствительную...

Любовь обязывала...

Она пошла в библиотеку, взяла «Фауста» Гете и впервые прочитала его до конца. После этого она почувствовала себя немного увереннее; если пойдет речь о величайшем творении человеческого гения, то она сможет сказать что-нибудь вразумительное. Но, конечно, до заметных изменений было еще очень далеко. И она записалась на курсы английского языка,

чтобы читать Вильяма Шекспира в подлиннике. У нее не было другого выбора, ее любовь толкала ее все дальше. А ведь в каждом письме он говорил о ее глубине и тонкости, и ей, конечно, очень хотелось соответствовать этому удивительному, загадочному образу тонкой, глубокой женщины, чтобы не разочаровать этого начитанного, образованного мужчину. Один только его презрительный взгляд, если бы он обнаружил ее невежество, приводил ее в трепет. Выглядеть в его умных глазах невеждой?

Никогда!..

Вскоре в его письмах появились новые нотки, и она снова встревожилась, он стал намекать на встречу. Каждый намек на желание встретиться ее пугал, и она в панике отказывалась, находила поводы избежать встречи. Она не была готова. Кем она предстанет перед ним? Глупой гусыней? Нет, она еще не соответствовала этой встрече. И она принесла из библиотеки горю книг и читала ночи напролет Иоганна Гете, Фридриха Шиллера, Серена Кьеркегора, Данте Алигьери, Франца Кафку, Германа Гессе, Генриха Белля, Жан Поль Сартра, Фридриха Новалиса, Фернандо Пессоа. Любовь обязывала. Его разочарования она бы не пережила. Выглядеть душой в его умных глазах? О! Нет!

Хорошо бы отсрочить встречу на год, лучше на два, может быть, она бы успела привести в порядок этот образ и поднять его на должную высоту, углубить, добавить загадочности, приглушить свою простоту, развернуть вишь...

Но он начинал проявлять нетерпение и даже недоумевать по поводу ее упорных, ловких ускользаний. Встреча назревала. Она начинала нервничать и в панике изучила психологию и биохимию. Единственное, что утешало – макияж. Это была хорошо продуманная система и здесь она чувствовала себя увереннее всего; была отработана с юности. С макияжем было просто, он имел начало и конец. Пудра, тени, лак, тушь, духи. От 15 минут до полутора часов. Но вот эта духовность! Это было что-то неопределенное, бездонное, не имевшее ни конца, ни края. Здесь можно быть знатоком в одном и полным невеждой в другом. Что делать? Отсрочить встречу еще на год – другой, чтобы изучить генетику, философию, историю средних веков, португальскую поэзию, производство солнечных батарей, виноделие, строительство мостов, жизнь муравьев, рождение звезд, альтернативные источники энергии. А если за этот срок он разлюбит? Тогда все было напрасно. Тогда больше не надо соответствовать. Можно не читать и не изучать. Выспаться. Перевести дух. Отложить книжки. Оставить только макияж. Для растений и быта.

Он стал настолько нетерпелив, что уже требовал встречи.

И она, наконец, согласилась, все еще не до конца уверенная в том, что сделала все, к чему любовь обязывала. В ночь перед свиданием она освежила в памяти «Похвалу глупости» великого Эразма Роттердамского и основные технические данные к новинке «Windows 8». На четыре тома бессмертного труда Артура

Шопенгауэра «Die Welt als Wille und Vorstellung» уже не оставалось времени, близился рассвет. Вечером, к своей наработанной за последнее время духовности она набросала в течение часа макияж, оделась во все лучшее, что нашлось в гардеробе, и с замирающим сердцем поплелась на свидание.

В кафе почти не было народу, за столиком у окна сидел пожилой мужчина в серой рубашке с закатанными рукавами, перед ним стоял пустой бокал пива и лежал цветок розы на длинном стебле. Это был он. Её нетерпеливый поклонник. Он поднял лицо, чтобы поглядеть на вошедшую, и она... похолодела. Это лицо было... некрасивым. Оно было даже безобразным; в этом лице не было ни капли обаяния, никакой особенности, которое делает некрасивое лицо своеобразным, даже приятным, отличным от других, к которому быстро привыкаешь, принимаешь, и, уже спустя время, находишь даже симпатичным.

Он слегка улыбнулся, поднялся ей навстречу и отодвинул стул, чтобы она села.

– Спасибо! – пролепетала она и упала на стул, чувствуя дрожь в коленках. Да. Он не был готов. Его любовь ни к чему не обязывала. Почему? Неужели трудно было сходить к хирургу и сделать пластическую операцию? Убрать лишнее, прибавить недостающее. Даже хотя бы побриться, а не являться на свидание с трехдневной щетиной.

– Вы, на самом деле, еще красивее, чем на экране телевизора! – заговорил он высоким голосом и она вздрогнула. За долгое время до этой встречи мог бы поупражняться, чтобы понизить высоту звука, упорными упражнениями перейти на лирический баритон, а то и на бас. Говорят, хорошо помогают сырые яйца. Не подготовился. Любовь не обязывала. Только речь его текла плавно, как бывает, скользит лодка по гладкой воде, видно давно отработанная, наверное, с юности, как у нее макияж.

Подошел официант, он заказал себе еще кружку пива, а она чашечку эспрессо, и стала потихоньку приходить в себя от потрясения.

– Нет, в самом деле, – продолжил он тем же высоким, невыносимым голосом, – я сделал столько Ваших фотографий с экрана телевизора! Могу открыть у себя в квартире филиал Лувра! Но в жизни Вы выглядите потрясающе! Вы мне напоминаете Софи Лорен...

– Издалека! – натянуто улыбнулась она и отхлебнула от своей чашечки кофе, стараясь, чтобы он не заметил, как дрожит ее рука. Понятно, ничего общего с Софи Лорен она не имела, это были только комплименты и попытки быть галантным. Но на галантность у нее не было времени.

– Скажите, как вы относитесь к Генриху Новалису? – спросила она и улыбнулась уже открыто и это улыбка, кто ее знал, означала, что она стала противной самой себе и приготовилась это впечатление изменить.

Вспомнив о Новалисе, этом юном немецком бароне 18 века,

она оживилась, откинула белокурый локон с лица и невольно расслабилась. Теперь она была в своей бездонной и бескрайней стихии духовности, и как бы расправила крылья.

— Этот юноша был чудесным поэтом. Вам не кажется? Его «Гимны к ночи» просто потрясают необычностью...

Он даже не наморщил лоб, как бы силясь вспомнить давно прочитанное.

— Не знаю. Не читал. — Спокойно ответил он, беря кружку своими крупными, мохнатыми, как у паука, пальцами. Она в ужасе уставилась на них. — Чем Вы занимаетесь в свободное от телевидения время?

— Э..! Многим... К примеру, изучаю биохимию, генетику и физиологию растений! Хочу не только видеть растения снаружи, их цвет и контуры, хочу понимать, как они живут, чем дышат, а без физиологии тут не обойтись. Завидую Грегору Менделю! — вдохновилась она, подхватывая новую тему для разговора.

Может быть, он в генетике силен, ибо на тему таинственного наследования свойств и признаков живых существ она могла говорить весь вечер. Впрочем, она чувствовала сейчас, наконец, вдохновение и готова была говорить на любую тему!

— А кто это? — поднял брови ее собеседник.

— Чешский монах 19 века, изучал растения в монастырском саду и занимался выведением роз и их опылением. Отец нынешней генетики.

Он откинулся на спинку стула, смотрел на нее удивленно и в глазах его отчетливо читалась откровенная растерянность. До этой встречи он видел с экрана телевизора красивую женщину и наделил ее красивыми воздушными свойствами, но сейчас перед ним была умная, образованная, тонко чувствующая, возвышенная женщина, и к этой женщине он не был готов.

— Неужели интересно быть такой занудой? — слегка поморщился он, досадуя, вероятно, на себя, и припал к своей кружке пива, словно его мучила жажда. Она откинулась на спинку стула, прищурила глаза и широко, свободно улыбнулась.

— Все наоборот! До того, пока вас не знала, я была занудой, — ответила она. — Но ваши письма изменили меня, я стала интересной для себя самой, я смотрю сейчас на мир, словно никогда его прежде не видела и теперь понимаю, как плохо его знала; я могу рассматривать его сверху, — будто с облаков, и снизу — как бы со дна океана, он открывается мне в своей глубине и загадочности; меня стало все интересовать...

Зазвонил его мобильный телефон, он выхватил его из кармана и взглянул на номер.

— Извините, — сказал он, поднялся и отошел в сторону. Она кивнула и улыбнулась; кажется, этот звонок был спасательным кругом, он вытащил ее поклонника из неловкой ситуации.

— Мне надо срочно отойти, — сказал он приглушенным голосом, вскоре вернувшись и кладя деньги за пиво на стол. —

Извините. Эта розочка вам! Вы потрясающе красивая женщина! Она осталась одна и долго сидела, задумчиво глядя через большое окно кафе на улицу, но не видя того, что там происходило. — Почему он не подготовился? — задавалась она вопросом. — Или это были только слова? Слова, призванные служить тому же, чему служит макияж — создать таинственный образ, приукрасить действительность, создать впечатление; через эти слова создать о себе впечатление умного, образованного, заботливого. Как человек хвастливый он хотел только казаться, но не быть, набрасывая на себя макияж слов; он меня возвышал, чтобы возвысить себя, он меня воспевал, чтобы пели о нем. Он казался, и остался кажущимся. А я стала, я вылетела себя вновь... Она поднялась, заплатила за эспрессо, пошла к выходу и опустила розочку в мусорный контейнер. Теперь она знала. Ей нужен тот, кого любовь обязывает, кого любовь поднимает, развивает, дает ему крылья, обогащает и возносит, кого делает интересным и любознательным, кому она раскрывает глаза, делает сердечным и внимательным к миру...

Часть 2

Портрет

мы выходим из тьмы, чтобы кануть во тьму...

Омар Хайям «Рубайят» (1048–1131)

Граница между светом и тенью – ты.

Станислав Ежи Лец (1909–1966)

художник брел домой; в ночном тихом воздухе отчетливо были слышны его тяжелые, шаркающие шаги. Его немного шатало от выпитого с друзьями, он был раздражен и бормотал что-то про себя. Он ушел от друзей из ресторана, где они довольно часто собирались, чтобы поговорить обо всем, исключая искусство, о нем не было принято говорить на хмельную голову, о нем нужно говорить только серьезно и глубоко. Но вопрос Генриха его обозлил: «Почему ты, Мати, пинешь посредственные вещи?» Этот вопрос среди легких тем и легкого хмельного тона прозвучал неожиданно серьезно, не в тон, не во время, не к месту. И если бы он исходил от кого-то другого, от знаменитого Рихарда, например, он бы отиутился, но вопрос задал Генрих, который был еще малозначащим, как художник, и самым молодым членом их дружеского круга, его вопроса можно было даже не заметить, но Матиас заметил и оскорбился. Даже этот юноша заметил, что я стал рисовать посредственно, подумал он с раздражением, поднялся и пошел прочь, домой, по ночному городу, залитому ясным лунным светом, хмельной и раздраженный. «Почему? – спрашивал он себя. – Когда я съехал на писанину посредственных картин?» Сам не заметил, и друзья тактично молчали. Только этот начинающий художник, еще юноша, честный и открытый, заметил и не посчитался с его славой, его именем, спросил и даже, похоже, ждал ответа, смотрел выжидательно...

Матиас был талантлив, и картины выходили из-под его руки будто сами собой. Не в талантливой ли небрежности лежало начало его сползания в посредственность? Все эти поклонники, ценители, эксперты, знатоки, любители, покровители гнали его и загнали, как лошадь. Люди любят ставить на лошадей: если она хорошо бежит, значит, она может бежать еще лучше. Ему хорошо платили. И он старался, пока не уперся в какую-то стену. Он перестал чувствовать картины. Будто некая сила отняла у него волшебный фонарь, которым он освещал темноту и высвечивал, к своей радости, прекрасные картины. То, что раньше приходило, как озарение, как откровение – яркое, цельное, особенное – больше не являлось. В больной тяжелой голове воцарились тишина и пустота. Его небо вдохновения не озаряли больше золотые прекрасные молнии; радость он черпал теперь

в вине и, хмелея, искал в нем вдохновляющий, животворящий свет. Но и радость ушла и он остановился. Теперь даже хмель не возбуждал в нем видений и не рождал образов. Все погасло, будто ушло во тьму. Произошло самое страшное, что может только случиться с творцом, – он не может более извлекать свет и отделять его от тьмы. Он пришел к истокам посредственности. Посредственное – это еще тьма, здесь не дошли до света сути. Придя домой, не раздеваясь, он упал на диван и тут же заснул. И провалился в странный сон. Будто он пошел в свою мастерскую, может быть, чтобы понять, там, в мастерской, почему он стал посредственно писать? Над его мастерской стояла глубокая тихая ночь; в черном небе сияла огромная желтая Луна. Ее неземным светом были залиты полотна картин, находившиеся в мастерской; многие были начаты и не закончены; они населяли мастерскую и составляли ее содержание: они были повсюду – висели на стенах, стояли на полу у стен, лежали на трех мольбертах. Но одна из них, – набросок юной женской головы, – лежала на мольберте в углу мастерской лицом к большому окну. Внезапно ему показалось, что она открыла глаза и ахнула от восторга, глядя в большое окно:

– Как божественно красиво! Почему красота всегда тревожит? – услышал он, будто шелест, ее взволнованный голос. — Отчего сжимается и трепещет сердце? Что-то произойдет! Я чувствую, я предчувствую... Грядут какие-то перемены в моей жизни. Меня, наконец, допишут?! Но какой я буду? – задумалась незаконченная Картина, не отводя восхищенного взгляда от небесного ночного пейзажа. – Я вся во власти художника, этого пьяницы, этого гения... творца...

– Пьяницы... Гения... Творца... – пробормотал художник во сне, глядя с изумлением на странную картину на мольберте...

– Ах, если бы я сама могла писать, я бы написала себя, но какой бы я стала?

Он видел, что Картина неожиданно задумалась над необычным вопросом, но, не найдя ответа, засмеялась своим мыслям, и взглянула на желтую Луну.

– Мы все рождены светом, в нашей крови течет свет, и свет изливают наши лица. Мы, освещенные, связаны кровным родством. Спокойной ночи, великая Луна! – прошептала Картина серебристыми от лунного света губами.

– Освещенные? – снова изумился художник, видя себя в своей мастерской, стоящим перед странной картиной, и слыша, будто наяву, ее серебристый голосок...

Утром, когда за окном еще стояли густые сумерки, он проснулся от жажды и беспокойства, припомнил вчерашний вечер, свое внезапное раздражение, и странный сон; он был все еще ярким и стоял перед глазами, в нем было что-то ускользавшее, но важное, мучительное, какая-то мысль, истина, она таилась в этой странной картине, но чтобы это понять, надо было ее дописать... и она бы заговорила, она бы сказала!

Он тяжело встал, привел себя в порядок, достал из холодильника свежую бутылку красного вина, вынул с громким хлопком пробку и налил себе почти полный стакан. Выпитое сразу ударило в голову, он одобрительно улыбнулся этому действию и внезапно почувствовал сильное желание пойти в мастерскую, может быть за ответом, снять беспокойство, которое засело со вчерашнего злополучного вечера и томило его...

Поднявшись по винтовой лестнице в мастерскую, он стал прохаживаться вдоль своих полотен. Две картины стояли у двери в мастерскую, законченные, словно готовясь к выходу, на продажу; он глядел на эти полотна и удивлялся, будто впервые их видел. Они содержали явные недостатки, некоторые места были откровенно плохо прорисованы, на многих была небрежно положена краска. Виной была спешка, спешка, спешка, но все прощалось его таланту, его молодости, его мастерству. И он сам незаметно научился себе это прощать. Только сейчас он увидел цену своим полотнам. Это были картины для украшения голых стен! Он подошел к одной незаконченной картине, стоявшей у стены, и долго недоверчиво ее рассматривал, потом отошел к другой, тоже недописанной. Это тоже был его стиль, его темп, – бегать от одной картины к другой, от одного впечатления к другому, от одной женщины к другой, от одной бутылки к другой. Оттого многое, непростительно многое, оставалось незавершенным, неосмысленным, упущенным, плохо освещенным...

– О боже, что же я рисую? – спросил он вдруг себя, не переставая удивляться себе, – похоже, мне только казалось, что я художник, что я творец, могу творить выдающиеся вещи, достойные остаться в чувствах людей, картины, к которым приходят, как на свидание, как ходят в лес – для спокойствия, как приходят к реке, – для умиротворения, как ходят в театр – для впечатлений. Но могу ли я творить? Одной мазней больше, – продолжал мрачно размышлять художник, стоя перед начатым полотном. Он достал из бара в стене открытую бутылку вина и сделал несколько больших глотков.

– Кажется, я мчался не в ту сторону, – пробормотал он, быстро пьянея и яростно оглядывая свои картины, стоявшие вдоль стен. – Ради этого я брался за кисть?!

Пьяно ухмыляясь, он подошел к нарисованному пейзажу с пасущимися козами на горном лугу, и стал насмешливо его рассматривать.

– Ну, покажи, художник, что ты тут пишешь? – пьяно куражась, спрашивал он себя, – это должно стать шедевром? Эта картина должна затмить великое солнце?

Внезапно он схватил правой рукой нож, которым счищают краску с полотен, и занес его над своим творением, но от крика за своей спиной остановился. Картина на мольберте вздрогнула

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.